

Глава I

Солнце и тень

Однажды, лет тридцать тому назад, Марсель дремал под жгучими лучами солнца.

Жгучее солнце в жаркий августовский день было в те времена в южной Франции явлением столь же обыкновенным, как раньше или позднее. Всё в Марселе и вокруг этого города блестело под раскаленным ярким небом. Путешественник доходил до одурения при виде блестящих белых домов, блестящих белых стен, блестящих белых улиц, блестящих колеи дороги, блестящих холмов с выжженной травой. Не блестели и не сверкали только виноградные лозы, сгибавшиеся под тяжестью гроздьев. Они трепетали, когда раскаленный воздух шевелил их поникшие листья.

Ветерок не рябил загнившей воды гавани и прекрасного моря, растилавшегося за нею. Линия, разделявшая два цвета, черный и голубой, указывала границу, за которую не переступало чистое море; оно покоилось так же неподвижно, как и отвратительная лужа гавани, никогда не смешиваясь с последней. Лодки без тентов обжигали руку; краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями; раскаленные камни мостовой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью. Индусы, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, генуэзцы, неаполитанцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех племен — строителей Вавилонской башни¹, явившиеся в Марсель по торговым делам, искали тени, старались укрыться куда-нибудь от голубого моря, резавшего глаза ослепительным блеском, и багряного неба,

¹ В Библии есть история о том, как после потопа люди захотели построить башню «высотой до небес». Бог был разгневан и смешал их языки. Строители перестали понимать друг друга и рассеялись по земле. Этой легендой объясняется происхождение разных языков, и отсюда пошло выражение «вавилонское столпотворение».



превратившегося в сплошной костер. Только обращаясь к далекому итальянскому берегу, они отдыхали на легком тумане, медленно поднимавшемся с моря; но больше им негде было отдохнуть.

Пыльные дороги, убегая вдаль, блестели на склонах холмов, блестели в лощинах, блестели на бесконечной равнине. Пыльные виноградные лозы, обвивавшие стены коттеджей, чахлые деревья вдоль дороги изнемогали в блеске земли и неба. Изнемогали лошади, тащившиеся внутрь страны, лениво позвякивая колокольчиками; изнемогали кучера, изредка пробуждавшиеся от дремоты; изнемогали усталые работники на полях. Все живое или прозябавшее было подавлено блеском, кроме ящериц, быстро шмыгавших среди камней, и цикады, выводившей свою сухую трескучую песню. Сама пыль побурела от жары, и в воздухе что-то дрожало, словно и он мучился от зноя.

Шторы, ставни, занавеси, жалюзи были спущены и закрыты, чтобы избавиться от блеска. Он врывался, подобно раскаленной стреле, во всякую щель или замочную скважину. В церковь ему всего труднее было пробраться. Но, выйдя из полумрака колонн и арок, где лениво мерцали лампы и лениво двигались причудливые тени набожно дремавших, плевавших и молившихся стариков, вы окунались в огненную реку и выбивались из сил, стараясь добраться до ближайшей тени.

В таком-то виде Марсель жарился однажды на солнце, между тем как истомленные жители прятались в тени, и тишина нарушалась только слабым жужжанием голосов или лаем собак, случайным звоном нестройных колоколов или треском испорченных барабанов.

В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из ее камер — помещении до того гнусном, что даже назойливый свет, заглянув в него, тотчас отпрядывал назад, — находились двое. Кроме них были тут старая изрезанная скамья, прикрепленная к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, домино, два матраца и две-три бутылки из-под вина. Вот и все, что было в комнате, не считая крыс и других невидимых гадин в дополнение к двум видимым людям.

Комната слабо освещалась сквозь железную решетку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу, откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовало широкий каменный выступ фута в три или четыре. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключенных, полусидя, полулежа, подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены оконной ниши. Клетки железной решетки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть и таким образом устроился очень удобно.

На всем лежал отпечаток тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели — все носило на себе следы заключения. Люди — чахлые и бледные, железо — ржавое, камень —

липкий, дерево — гнилое, воздух — удушливый, свет — тусклый. Подобно колодцу, подобно склепу, подобно могиле, темница не знает о блеске, царящем снаружи; она сохранила бы свою спертую атмосферу даже среди благоуханий на островах Индийского океана.

Человек, лежавший на окне, вздрогнул от холода. Нетерпеливым движением он запахнул плотнее пальто и проворчал:

— Черт бы побрал это проклятое солнце: никогда не заглянет сюда!

Он ожидал обеда, поглядывая за решетку с выражением голодного зверя. Но глаза его, слишком близко расположенные друг от друга, отнюдь не имели такого благородного выражения, которое присуще царю зверей: они были скорее пронзительны, чем блестящи, — острые иглы со слишком малой поверхностью, чтобы хорошенько рассмотреть их. Выражение их оставалось почти неуловимым, они только искрились и моргали. Любой часовщик изготовил бы лучшую пару не для собственного употребления. Орлиный нос довольно красивой формы начинался слишком высоко между глазами — вероятно, настолько же выше обычного уровня, насколько глаза помещались ближе друг к другу, чем у всех людей. Что касается остального, то это был человек высокого роста, плотный, с тонкими губами, которые резко выделялись из-под больших усов, и с жесткими всклокоченными волосами неопределенного цвета с легким рыжим отливом. Рука, державшаяся за решетку (и усеянная подживающими царапинами), маленькая и пухлая, отличалась бы замечательной белизной, если б ее отмыть от тюремной грязи.

Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись плохим порывевшим пальто.

— Вставай, боров! — проворчал первый. — Не смей спать, когда я голоден.

— Мне все одно, господин, — отвечал боров покорным и довольно веселым тоном, — могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне все одно.

Говоря это, он встал, встряхнулся, почесался, накинул пальто на плечи, завязав рукава вокруг шеи (раньше он накрывался им, как одеялом), и снова уселся на пол, прислонившись к стене.

— Который час? — буркнул первый.

— Двенадцать пробьет через сорок минут. — Говоря это, узник на минуту приостановился и оглядел тюрьму, точно она могла сообщить ему о времени.

— Ты, ходячий хронометр, как ты узнаешь время?

— Почему я знаю? Но мне всегда известно, который час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью на лодке, но я знаю, где я. Вот посмотрите! Вот Марсельская гавань, — он привстал на колени и стал чертить по полу своим загорелым пальцем, — вот Тулон (там галеры), вот здесь Испания, а здесь будет Алжир. Теперь налево — Ницца. Еще левее —

Генуя, Генуэзский мол и гавань. Карантин. Здесь город, террасы, заросшие белладонной. Здесь Порто-Фино. Пересадка на Ливорно. Дальше — на Чивита-Веккио. Дальше... тут нет места для Неаполя... — (он дошел до стены), — всё равно, он там.

Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению веселыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя слишком коренастый человек. Серьги в бурых ушах; белые зубы, сверкающие на смешном буром лице; черные как смоль волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею; рваная красная рубашка, расстегнутая на бурой груди. Просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком — нож.

— Теперь я отправлюсь из Неаполя тем же путем. Замечайте, господин! Чивита-Веккия, Ливорно, Порто-Фино, Генуя, затем Ницца (вот она), Марсель, вы и я. Комната тюремщика вот здесь; где мой большой палец — ключи; а тут, у моего запястья, — национальная бритва — гильотина.

Другой узник соскочил с окна, и в глотке его точно забулькало что-то.

Немного погодя где-то внизу щелкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице; щебетанье нежного детского голоска сливалось с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках трех- или четырехлетнюю девочку, свою дочку.

— Как дела, господа? Извольте видеть, моя дочка вздумала поглядеть на отцовских птиц. Ну что ж, посмотри на птиц, милая, посмотри!

Он сам пытливо всматривался в этих птиц, особенно в меньшую, которая, по-видимому, внушала ему недоверие своей живостью.

— Принес вам обед, синьор Жан-Батист, — сказал он, — (они все говорили по-французски, хотя маленький узник был итальянец), — и, знаете, посоветовал бы вам не играть.

— Вы, однако, не советуете этому господину? — сказал Жан-Батист, улыбаясь и оскаливая зубы.

— Да господин-то выигрывает, — возразил тюремщик, бросив далеко не дружелюбный взгляд на другого узника, — а вы проигрываете. Это большая разница. На вашу долю достается черствый хлеб, а ему — лионская колбаса, телятина с желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино... Посмотри на птиц, милочка!

— Бедные птицы! — сказала дитя.

Хорошенькое личико, озаренное божественным состраданием и робко заглядывавшее за решетку, казалось ликом ангела, сошедшего в темницу. Жан-Батист встал и подошел поближе, точно притягиваемый неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места и только нетерпеливо поглядывала на корзину.

— Ну, — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, — она будет кормить птиц. Этот большой ломоть для синьора Жан-Батиста.

Надо его переломить, иначе не пролезет сквозь решетку. Вот так ручная птица целует руку девочке! Эта колбаса, завернутая в виноградный лист, — господину Риго. Эта телятина с душистым желе — господину Риго. И эти три ломтика белого хлеба — господину Риго. И этот сыр, и это вино, и этот табак, — всё господину Риго. Счастливая птица!

Дитя с очевидным страхом просунуло все эти яства сквозь решетку в мягкую, пухлую изящную руку, не раз отдернув свою собственную и поглядывая на узника нахмутив лобик, с выражением не то боязни, не то гнева. Но она доверчиво вложила ломоть хлеба в смуглую корявую руку Жан-Батиста с уловатыми пальцами (на которых вряд ли набралось бы достаточно материала для одного ногтя господина Риго); и когда заключенный поцеловал ее ручку, ласково погладила его лицо. Г-н Риго, ничуть не обидевшись этим различием в обращении, умастил отца смехом, а дочери кивал головой всякий раз, когда она подавала ему что-нибудь. Получив свой обед, он устроился поудобнее на окне и немедленно принялся за еду.

Когда г-н Риго смеялся, в лице его происходила замечательная, но не особенно приятная перемена. Усы поднимались, а нос опускался самым зловещим образом.

— Вот, — сказал тюремщик, перевертывая и вытряхивая корзину, — я истратил все деньги, которые получил; здесь и счет, это дело кончено. Господин Риго! Президент намерен насладиться беседой с вами сегодня в час пополудни.

— Судить меня, а? — спросил Риго, остановившись с ножом в руке и куском во рту.

— Именно. Судить.

— А мне ничего не скажете новенького? — спросил Жан-Батист, принявшийся было с аппетитом уписывать свой ломоть.

Тюремщик пожал плечами.

— Матерь Божья! Неужели же мне тут век вековать, отец родной?

— А я почему знаю! — крикнул тюремщик, поворачиваясь к нему с чисто южной живостью и жестикулируя обеими руками и всеми пальцами, точно собираясь разорвать его в клочки. — Дружище, разве я могу сказать, сколько времени вы здесь просидите? Разве я знаю об этом, Жан-Батист Кавалетто? Провалиться мне! Бывают здесь и такие арестанты, которые не больно торопятся на суд.

Говоря это, он искоса взглянул на г-на Риго, но тот уже принялся за свой обед, хотя, по-видимому, и не с таким аппетитом, как прежде.

— Прощайте, птицы! — сказал тюремщик, взяв на руки дочку.

— Прощайте, птицы! — повторило дитя.

Ее невинное личико ласково выглядывало из-за плеча отца, который спускался с лестницы, напевая ей детскую песенку:



*Кто проходит здесь так поздно?
Это спутник Мажолэн!
Кто проходит здесь так поздно?
Ласков, весел он всегда!*

Жан-Батист, прильнув к решетке, счел своим долгом подтянуть приятным, хотя несколько сиплым голосом:

*Цвет всех рыцарей придворных,
Это спутник Мажолэн.
Цвет всех рыцарей придворных,
Ласков, весел он всегда.*

Тюремщик даже приостановился на лестнице, чтобы дать послушать песню дочурке, которая повторила припев. Затем головка ребенка скрылась, скрылась голова тюремщика, но детский голос звучал, пока не хлопнула дверь.

Г-н Риго, видя, что Жан-Батист остается у решетки, прислушиваясь к замирающему эху (даже эхо звучало в тюрьме чуть слышно и как-то медленно распространялось в спертый атмосфере), напомнил ему пинком ноги, что он может отправиться в свой угол. Маленький узник снова уселся на каменном полу с беспечностью человека, привыкшего к жесткому ложу. Разложив перед собой три куска хлеба, он принялся за четвертый с таким усердием, словно побился об заклад съесть все за один присест.

Быть может, он и поглядывал на лионскую колбасу и телятину, но они недолго соблазняли его: г-н Риго живо расправился со своими яствами, несмотря на президента и суд, после чего вытер руки виноградным листом. Затем, хлебнув вина, он взглянул на своего товарища, и усы его поднялись, а нос опустился.

— Хорош ли хлеб? — спросил он.

— Суховат немного, да у меня есть соус, — отвечал Жан-Батист, показывая свой нож.

— Какой соус?

— Я могу резать хлеб так — на манер дыни, или так — в виде яичницы, или так — в виде лионской колбасы, — сказал Жан-Батист, наглядно поясняя свои слова и смиренно пережевывая хлеб.

— Держи! — крикнул г-н Риго. — Можешь допить. Можешь прикончить!

Подарок был не из щедрых, так как вина оставалось только на донышке; но синьор Кавалетто, вскочив на ноги, принял бутылку с благодарностью, опрокинул ее в рот и чмокнул губами.

— Поставь бутылку на место, — сказал Риго.

Жан-Батист повиновался и готовился подать ему зажженную спичку, так как Риго свертывал папироски из маленьких бумажек, принесенных вместе с табаком.

— Вот, возьми одну.

— Тысячу благодарностей, господин! — отвечал Жан-Батист на родном языке, со свойственной его соотечественникам ласковой живостью.

Г-н Риго встал, закурил папироску и растянулся во всю длину на скамье. Кавалетто уселся на полу, обхватив ноги руками и покуривая папироску. По-видимому, глаза г-на Риго с каким-то беспокойством устремлялись к тому месту пола, где остановился большой палец Жан-Батиста, когда тот рисовал план. Они так упорно направлялись к этой точке, что итальянец не раз с удивлением поглядывал на своего товарища и на пол.

— Подлая дыра! — проговорил г-н Риго после продолжительного молчания. — Посмотри, какой свет. Дневной свет! Да это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года! Слабый, чухлый!

Свет проходил сквозь четырехугольное отверстие в стене на лестнице, через которое нельзя было разглядеть и клочка неба.

— Кавалетто, — сказал г-н Риго, внезапно отрывая глаза от этого отверстия, на которое оба невольно устремили взгляд, — ты знаешь, что я джентльмен?

— Конечно, конечно!

— Давно ли мы здесь?

— Я — одиннадцать недель завтра в полночь. Вы — девять недель и три дня сегодня в пять часов.

— Делал ли я хоть что-нибудь за все это время? Брался ли я за щетку, расстилал ли тюфяк или свертывал его, убирал ли шашки и домино, словом — взялся ли хоть раз за какую-нибудь работу?

— Никогда!

— Пришло тебе хоть раз в голову, что я мог бы взяться за работу?

Жан-Батист сделал несколько резких движений указательным пальцем правой руки — сильнейший жест отрицания у итальянцев.

— Нет! Ты с первого взгляда понял, что я джентльмен.

— Altro! — отвечал Жан-Батист, зажмурив глаза и изо всех сил тряхнув головой. Это слово, которое на генуэзском жаргоне может выражать согласие и несогласие, утверждение и отрицание, насмешку, комплимент, шутку и десятки других вещей, в данном случае равнялось нашему «вы совершенно правы».

— Ха, ха! Ты прав! Я джентльмен. Я проживу джентльменом и умру джентльменом. Моя цель быть джентльменом. Это мой приз, и я возьму его во что бы то ни стало!

Он привстал и сел, восклицая с торжествующим видом:

— Вот и я! Взгляните на меня! Зброшен судьбой в общество простого бродяги, ничтожного контрабандиста, беспаспортного, которого полиция забирает в кутузку за то, что он вздумал уступить свою лодку (как средство пробраться за границу) другим таким же беспаспортным

бродягам; и он инстинктивно признаёт меня за джентльмена — даже в этом месте, при этом освещении. Превосходно! Клянусь небом, я возьму приз!

Снова усы поднялись, а нос опустился.

— Который час? — спросил он, причем лицо его покрылось страшной бледностью, не гармонировавшей с его весельем.

— Половина первого.

— Ладно. Скоро президент увидит пред собою джентльмена. Что ж, сказать тебе или нет, в чем меня обвиняют? Если не скажу теперь, то никогда не скажу, потому что сюда не возвращусь. Или меня освободят, или пошлют бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва?

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта и обнаружил гораздо больше смущения, чем можно было ожидать.

— Я, — г-н Риго встал и выпрямился при этих словах, — я гражданин мира. У меня нет родины. Мой отец — швейцарец кантона Во². Моя мать — француженка по крови, англичанка по рождению. Я сам родился в Бельгии. Я гражданин мира³!

Его театральный вид, манера, с которой он стоял, упираясь рукою в бедро и обращаясь к стене, не глядя на своего товарища, показывали, что он говорит скорее для президента, перед которым ему предстояло явиться, чем для такой ничтожной особы, как Жан-Батист Кавалетто.

— Мне тридцать пять лет. Я видел свет. Я жил здесь, я жил там, и везде я жил джентльменом. Все и всюду относились ко мне как к джентльмену. Быть может, вы упрекнете меня за то, что я жил своею хитростью, своим умом, но как же вы-то живете: вы, юристы? Вы, политики? Вы, дельцы? Вы, представители биржи?

Он говорил, то и дело вытягивая свою маленькую пухлую руку, точно это был свидетель его порядочности, уже не раз оказывавший ему услуги.

— Два года назад я приехал в Марсель. Я был беден; я был болен. Когда вы, юристы, вы, политики, вы, дельцы, вы, представители биржи, заболеваете, вы тоже становитесь бедняками, если не успели сколотить капиталец на черный день. Я поселился в «Золотом кресте»; меня приютил господин Анри Баронно, старец лет шестидесяти пяти и весьма слабого здоровья. Я жил в его доме уже четвертый месяц, когда господин Баронно имел несчастье умереть, — несчастье, впрочем, довольно обык-

² Территориально Швейцария разделяется на 26 кантонов; кантон Во расположен у границы с Францией.

³ Слова «Я гражданин мира» стали известны благодаря Джорджу Байрону; он же взял их из названия серии эссе английского писателя О. Гольдсмита (1730–1774) «Гражданин мира». Эта серия публиковалась в 1760–1762 годах.

новенное. Я тут ни при чем, подобного рода происшествия случаются весьма часто и без моей помощи.

Заметив, что Жан-Батист докурил свою папироску до самых пальцев, г-н Риго великодушно бросил ему другую. Итальянец закурил ее об окурок первой, поглядывая искоса на товарища, который, по-видимому, едва замечал его, поглощенный своим делом.

— Господин Баронно оставил вдову. Ей было двадцать два года. Она славилась своей красотой и (это совсем другое дело) действительно была красива. Я остался жить в «Золотом кресте». Я женился на госпоже Баронно. Не мне судить, соблюдено ли равенство в этом браке. Вот я перед вами, тюрьма наложила на меня свою гнусную печать, но, может быть, вы найдете, что я больше подходил моей жене, чем ее первый муж.

Он корчил из себя красавца, хотя не походил на такого, и благовоспитанного человека, хотя не был им. У него было только фанфаронство и наглость; но и в этом случае, как и во многих других, беззастенчивое бахвальство может сойти за доказательство в глазах большинства.

— Как бы то ни было, я понравился госпоже Баронно. Надеюсь, что это не будет поставлено мне в вину?

Его вопросительный взгляд упал на Жана-Батиста, который с живостью отрицательно замотал головой и забормотал свое «*altro, altro, altro, altro*».

— Вскоре между нами пробежала черная кошка. Я горд! Ничего не скажу в защиту гордости, но я горд. Кроме того, у меня властолюбивый характер. Я не могу подчиняться; я должен господствовать. К несчастью, состояние госпожи Риго принадлежало ей лично. Такова была нелепая воля ее покойного мужа. А затем, что еще хуже, у нее были родственники. Когда родственники жены настраивают ее против мужа, который сознает себя джентльменом, который горд и должен господствовать, последствия оказываются неблагоприятными для семейного мира. Но был и еще источник раздоров между нами. Госпожа Риго, к несчастью, была немножко вульгарна. Я старался исправить ее манеры, улучшить ее тон; она (поддерживаемая своими родственниками) сердилась на меня за это. Между нами происходили ссоры, и благодаря сплетням все тех же родственников эти ссоры становились известными соседям и преувеличивались. Был пущен слух, что я обращаюсь с госпожой Риго жестоко. Быть может, кто-нибудь видел, что я ударил ее по лицу, но не больше. У меня легкая рука, и если я когда-нибудь поучал госпожу Риго таким способом, то делал это почти в шутку.

Если шутливость господина Риго отразилась в улыбке, осветившей его лицо в эту минуту, то родственники госпожи Риго вполне основательно могли бы предпочесть, чтобы он поучал несчастную женщину серьезно.

— Я чувствителен и смел. Я не ставлю это себе в заслугу, но таков уж мой характер. Если бы родственники госпожи Риго выступили против меня прямо, я бы сумел расправиться с ними. Они знали это и вели свои махинации втайне; в результате между мной и госпожой Риго возникли постоянные и тяжелые столкновения. Даже когда мне требовалась ничтожная сумма на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения, — я, в характере которого заложена потребность повелевать! Однажды вечером госпожа Риго и я гуляли весьма дружелюбно, могу сказать — подобно двум любовникам, по обрыву, свисавшему над морем. Злая звезда побудила госпожу Риго завести разговор о родственниках, мы стали рассуждать об этом предмете, и я доказывал, что она нарушает священный долг преданности мужу, подчиняясь злобе своих родственников и допуская их вмешиваться в наши отношения. Госпожа Риго возражала, я возражал. Госпожа Риго разгорячилась, я разгорячился и стал говорить грубости. Сознаюсь в этом. Откровенность — одна из черт моего характера. Наконец госпожа Риго в припадке бешенства, которое я должен вечно оплакивать, бросилась на меня с неистовыми воплями (без сомнения, их-то и слышали издали), изорвала мою одежду, вырвала клочья моих волос, исцарапала мне руки, топала ногами и, наконец, бросилась с утеса и разбилась до смерти о камни. Таков ход событий, которые злоба обратила против меня, выдумав, будто я хотел добиться у госпожи Риго отречения от ее прав и ввиду ее упорного отказа бросился на нее и убил.

Он шагнул к окну, где лежали виноградные листья, взял два или три и остановился спиной к свету, вытирая ими свои руки.

— Ну, — сказал он после некоторого молчания, — что же ты скажешь на это?

— Некрасиво, — отвечал маленький человечек, который между тем встал и чистил нож о башмак.

— Что ты хочешь сказать?

Жан-Батист молча продолжал чистить нож.

— Ты думаешь, что я неверно передал события?

— Altro! — возразил Жан-Батист. На этот раз словечко имело смысл оправдания и значило «О, вовсе нет!».

— Ну, так что же?

— Судьи — такой пристрастный народ.

— Ну, — воскликнул Риго, с ругательством закидывая за плечо конец своего плаща, — пусть приговаривают к худшему!

— Вероятно, так и сделают, — пробормотал Жан-Батист себе под нос, засовывая нож за пояс.

Ничего более не было сказано, хотя оба принялись рассказывать взад и вперед, разумеется, то и дело сталкиваясь. Иногда г-н Риго приостанавливался, точно собираясь изложить дело в новом свете или отпустить

какое-нибудь гневное замечание, но из этого ничего не выходило, так как синьор Кавалетто продолжал разгуливать взад и вперед довольно забавной рысцой, опустив глаза в землю.

Наконец звук отпирающейся двери заставил их обоих остановиться. Послышались голоса и шаги. Хлопнула дверь, голоса и шаги стали приближаться, и тюремщик медленно поднялся по лестнице в сопровождении взвода солдат.

— Ну, господин Риго, — сказал он, остановившись на минуту у решетки с ключами в руке, — пожалуйста!

— Под конвоем, как я вижу?

— Да, иначе, пожалуй, от вас и кусков не соберешь. Там собралась толпа, господин Риго, и, кажется, не с дружескими целями.

Он прошел мимо окна и отомкнул низенькую дверь в углу камеры.

— Ну, выходите, — прибавил он, отворяя ее.

Вряд ли из всех оттенков белого цвета в подлунном мире найдется хоть один, который своей белизной сравнялся бы с бледностью лица г-на Риго в эту минуту. И вряд ли найдется выражение человеческого лица, подобное его выражению, где каждая черточка выдавала трепет сердца, пораженного ужасом. То и другое условно в сравнении со смертью; но глубокое различие существует между окончившеюся борьбой и борьбой в момент ее самого отчаянного напряжения.

Он закурил другую папироску об окурок своего товарища, крепко стиснул ее губами, надел мягкую шляпу с широкими полями, снова перекинул конец плаща через плечо и вышел из камеры в коридор, не обращая больше внимания на синьора Кавалетто. Что касается последнего, то его внимание было поглощено открытой дверью и коридором. Поводя глазами, он, как дикий зверь, выглядывал в открытую дверцу клетки, пока дверь не захлопнулась перед его носом.

Тогда, оставшись в одиночестве, узник, словно нетерпеливая обезьяна или резвый медвежонок, вскарабкался на подоконник и, прильнув к решетке, следил, не отрывая глаз, за уходившими. Он стоял, уцепившись за брусья обеими руками, когда внезапный гул голосов достиг его слуха: крики, вопли, проклятья, угрозы, ругательства — все сливалось в нем, хотя (как в буре) слышался только бешеный рев.

Возбужденный этим шумом и еще более напоминая дикого зверя в клетке, узник соскочил с окна, обежал вокруг комнаты, снова вскочил на окно, схватился за решетку, пытаясь потрясти ее, снова соскочил и обежал вокруг комнаты, снова вскарабкался на окно и прислушался, не оставаясь ни минуты в покое, пока гул не замер, мало-помалу удаляясь. Сколько пленников получше этого так же надрывали свое благородное сердце, и никто не думал о них; даже возлюбленная не знала об их страданиях; а великие короли и правители, бросившие их в тюрьму, разъезжали при блеске солнца среди приветственных криков толпы или

мирно умирали в своих постелях после громких дел и звонких слов, а учтивая история, еще более раболепная, чем их подданные, бальзамировала их.

Наконец Жан-Батист, которому теперь можно было выбирать любой угол для сна в пределах этих четырех стен, улегся на скамье, лицом кверху, скрестил руки на груди и заснул. Покорность судьбе, легкомыслие, добродушие, легкая и скоро проходящая возбужденность, всегдашняя готовность примириться с черствым хлебом и жестким камнем — во всем этом сказывался верный сын его страны.

Еще несколько времени все сияло и блестело под раскаленным небом, но вот солнце зашло в блеске багряных, зеленых, золотых лучей, и звезды зажглись на небе, а на земле, подражая им (как люди подражают доброте высших существ), заискрились светляки. Длинные пыльные дороги и бесконечные равнины успокоились, и глубокая тишина воцарилась на море.